

Ада Ольшевская

Первое предательство

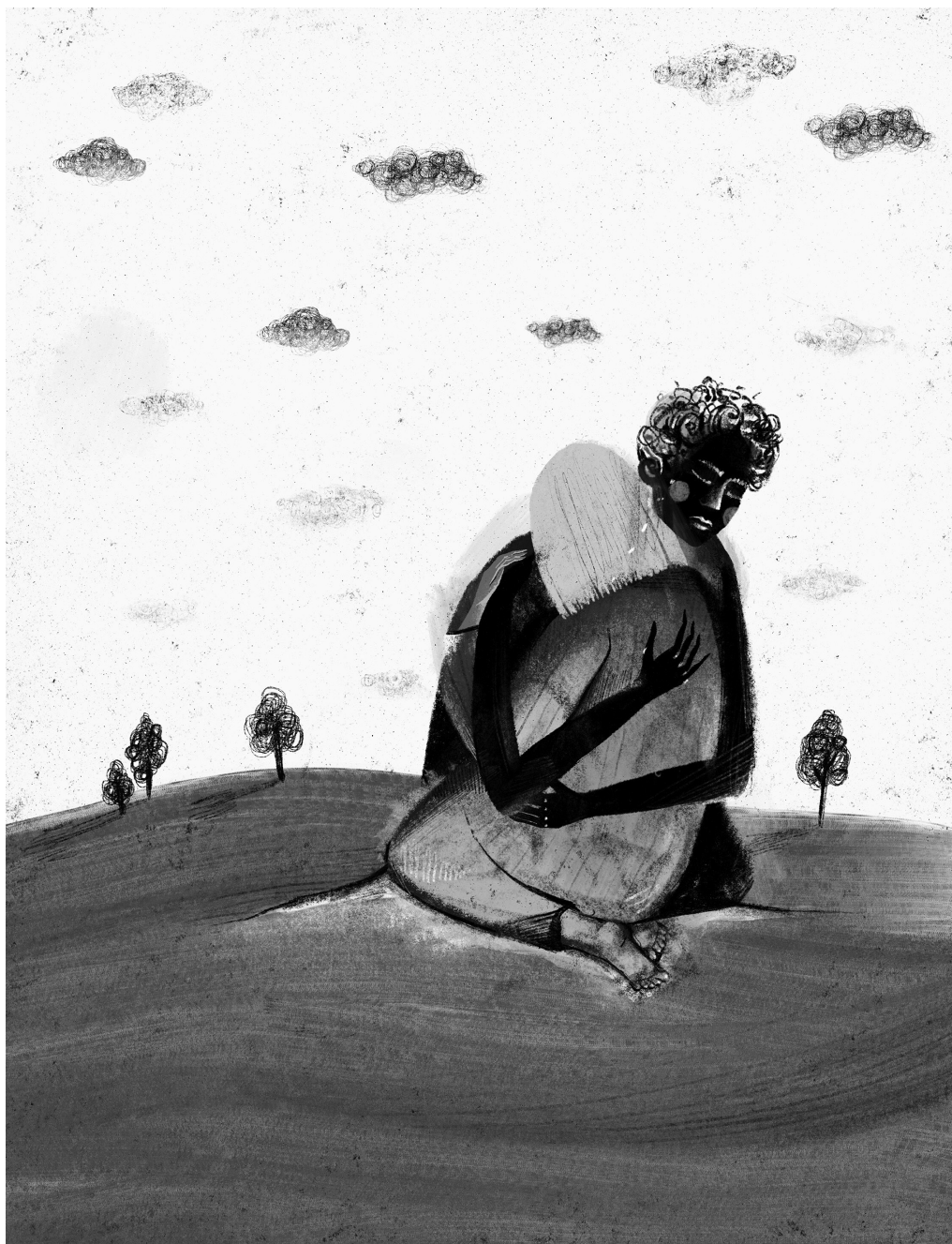
Почти все, что тогда случалось, случалось впервые. И предательство тоже. Да, оно было смешное, детское, простодушное, и все равно — предательство. А где предательство, там, как правило, и месть. Половина классики стоит на этом нехитром сюжете.

До сих пор не знаю, куда шел поезд, который должен был спасти нас от немцев, да так и не спас. Мы заболели, и нас во избежание эпидемии выбросили из вагона в чистом поле — так мы оказались в оккупации. Когда же немцев прогнали, маму послали в небольшое село директором школы. Директором, а также единственным учителем, сторожем, истопником, а заодно еще и уборщицей. Школа стояла на отшибе, на самом краю села, все ее четыре класса умещались в одной комнате, в другой поселились мы.

Ближе всех к школе жил Петька, мой ровесник, и мы с ним подружились. Учиться нам еще было рано, и потому целый день мы проводили вместе. По утрам, с неторопливым достоинством, Петька появлялся у нашей двери и терпеливо ждал, когда я выйду, а расставались мы только под вечер. Однажды я даже заночевала у него, но мне это дело не понравилось — никаких простыней или одеял, печка хоть и теплая, но ужасно твердая, а вместо подушек какой-то старый ватник.

Верховодила в нашей паре я, а Петька молча подчинялся, что казалось мне вполне естественным. Мысли обо всяких интересных делах почему-то тоже приходили именно в мою голову. Так, с моей подачи мы заспорили, кто ближе подойдет к бешеному черному быку с железным кольцом в носу, который сорвался с привязи и, пригнув к земле рога, носился по селу, роняя с губ клочья пены. Он погнался за нами, и мы едва успели нырнуть через окно в пустой класс, заходить в который нам было строго-настрого запрещено. Старый потолок в нем растрескался, провис и давно рухнул бы, если бы не подпиравшее его бревно. Но мы тут же договорились, что мамам об этом не скажем.

Петька готов был следовать за мной, куда угодно, — хоть в огонь, хоть в воду, и я этим слегка гордилась. Это, как сказали бы сейчас, повышало мое самоува-



жение. Мне вполне хватало одного друга, а с коллективом я уже и тогда не находила общего языка, видимо, это врожденное. Коллектив же недолго терпел нашу дружбу и вскоре на нас наехал.

Верховодила деревенской ребятней девочка постарше, Клава. С легкой Клавиной руки нас с Петькой стали дразнить женихом и невестой, что было ужасно стыдно. Тем не менее, дружба наша продолжалась. Как-то раз ребячья ватага приперла нас к стенке под нашими окнами и, потешно кривляясь, стала дразнить. Больше всех старалась Клава. У меня же в руках был длинный гибкий шест, который мы с Петькой только недавно где-то раздобыли, и я стала тюкать этой прекрасной штукой по их головам — тюк! тюк! тюк! Шест в руках приятно пружинил, отскакивая от чужих макушек, мне было весело. Обидчики наши ненадолго растерялись, но тут же всей оравой ухватились за него, семеро против меня одной, выдернули его из моих рук и сами стали весело тюкать по нашим с Петькой головам. Гнев и бессилие переполняли меня. Но дальше случилось то, чего не ожидал никто. Петька, который молча стоял рядом, вдруг быстро метнулся к ним, к нашим общим врагам, родная стихия, расступившись, приняла его в свои ряды, и вот уже он, мой друг, вместе со всеми кривляется и орет: «Жених и невеста! Жених и невеста!» А ведь я стою перед ними совсем одна. Одна! Где жених?! Какой жених?! Им что, повылазило? Совсем сдурели?

В тот вечер я не могла уснуть и впервые поняла, где находится мое сердце, перепутать было невозможно — оно разрывалось от боли и обиды. Я представляла, как завтра, словно побитый пес, придет (а если не придет?) Петька, как будет он краснеть и что-то мямлить, а я гордо скажу ему: «А ну давай тікай звідси! І швидше! А то зараз отримаєш від мене!» То есть проваливай и побыстрей, а то получишь!

На следующее утро Петька появился у нашей двери как ни в чем не бывало. Он не краснел, не отводил глаз в сторону, не оправдывался и не просил прощения. Ему это и в голову не приходило. Он вел себя как обычно и о вчерашнем не вспоминал. Ясно было, что в своем поступке он не видит ничего особенного. Это поставило меня в тупик, я растерялась и — простила его! С типично женской непоследовательностью и нелогичностью я простила Петьку. Но — не Клаву!

Уроки еще не начинались, и я, выбрав хворостину покрепче, пошла туда, где перед дверью в класс толпились ребята. Клава стояла у самого входа и, прижавшись спиной к стене, смотрела на меня слегка смущенно. Она была такая тихая, такая чистая, такая умытая. Куда только подевалась ее задиристость? Помню россыпь рыжих веснушек на курносом носу. Приговаривая «вот тебе! вот тебе!», я несколько раз полоснула ее прутом. На белой детской коже сразу же вспыхнули розовые полосы, и Клава молча заплакала. Слезы из ее глаз катились большие, чистые, прозрачные. Каким-то краем сознания я отметила, что в них отражается солнце. Вокруг смеялись. Но я вдруг поняла, что сделала что-то ужасное, и что ничего уже не исправить. Месть, о которой я мечтала, не принесла мне ни удо-

вольствия, ни радости, ни облегчения. Я бросила прут на землю и ушла. Перед Петькой я, понятное дело, хорохорилась, говорила: «Так ей и надо! Будет знать!» Но на самом деле понимала, так — нельзя. Нельзя! Впервые в жизни я была недовольна не кем-то, а собой, внутри что-то тоненько щемило — непривычное и мучительное чувство.

Но этим дело не кончилось. После уроков пришла мама и, не вникая в суть дела, — при Петьке! — сдернула с меня трусики, положила к себе на колени и очень больно отхлестала по голому задку. Это тоже было предательством. Кто ей дороже — я или какая-то чужая девчонка? И зачем при Петьке?! Стыдно же! Мама меня лупила, я ревела, а сама краем глаза поглядывала на Петьку. В глубине души я ждала, что он бросится меня защищать. Почему? Потому что, окажись на моем месте он, я тут же ринулась бы ему на выручку, даже если бы при этом мне тоже досталось. Вчерашний случай меня, видно, ничему не научил. Но маленький и невозмутимый мужичок, полный удивительного спокойствия, бродил по комнате так, будто в ней никого не было, и даже тихонько напевал что-то себе под нос. От стыда я не знала, куда себя девать.

А вскоре мы уехали. Тощая лошаденка-доходяга с трудом тащила телегу с нашими пожитками, а мы шли за ней пешком. Провожало нас все село. Люди потихоньку, по одному, отставали, вот уже никого не осталось, а Петька все не уходил, все стоял и смотрел нам вслед.

Долгое время я мечтала вернуться в Соляниковку, чтобы узнать, кем же он вырос, каким стал, мой верный Санчо Панса. А потом прочитала, что крохотного этого села больше нет на карте, время стерло его. Села нет, а память о нем, о Клавье, о Петьке, о соловье в терновых кустах, о крутой дорожке к колодцу, о травяном раздолье за школой с его медовым запахом — память об этом осталась. Не выветрилось, не забылось и Петькино предательство. Может быть потому, что я так и не смогла объяснить его сама себе. Иногда простые вещи оказываются самыми трудными для понимания. Что-то в тебе упрямо увиливает от этой простоты. А еще стали приходиться на ум смешные и глупые мысли о предопределенности, о том, что, как говорится, тебе на роду написано. А как оно написано, так и будет. Но вот кто его написал, не скажете? И зачем? Как у всякого живого человека, случались в моей жизни и другие предательства, ничего, в общем, особенного — в основном по мелочам, а парочку раз даже и по-крупному, в общем, все как у людей. Но почему, почему они всегда кроились по одному и тому же незамысловатому лекалу, по одной и той же простенькой схеме — Петькиной схеме?

Ада Ольшевская, родилась в Молдавии. Жила в Кишиневе. Работала в детской газете, в детском журнале «Алунел», затем главным редактором издательства «Эя», а также женой поэта Рудольфа Ольшевского. В Бостоне — с 2000 года.